

*Гендерные исследования в истории и этнологии:  
пока только «воображаемое»?*

*Наталья Пушкарева*

О бурном развитии женских и гендерных исследований в современном гуманитарном знании в последнее время говорится на всех научных форумах. Вряд ли найдется историк или этнолог, не слышавший о рождении такого направления – в том числе и в науках о прошлом. Не случайно Ирина Жеребкина именуется предыдущее десятилетие «гендерные 90-е»<sup>1</sup>. Речь идет 1) о сформировавшемся в западном гуманитарном знании способе проблематизации действительности, который медленно, но верно пробивает себе дорогу в российском научном пространстве, и 2) о формировании новых институций, на базе которых делаются попытки осмыслить по-новому старые способы работы, найдя одновременно новые области исследования.

Процесс идет не простым путем: гендерные исследования все еще находятся в положении доказывающих свое равноправие – как в системе аналитических подходов и приемов гуманитаристики в целом, так и в тематических констелляциях каждой конкретной дисциплины.

Позволю себе напомнить, что эта «непростота» образуется отнюдь не только и не столько условно «враждебным» окружением традиционной, андроцентричной научной среды, ориентированной на воспроизведение патриархатных моделей развития научного знания. Враждебного окружения уже нет. Потому и прежнее противостояние, желание что-то кому-то доказать, убедить и настоять на своем, уступили место терпимости, постмодернистскому отрицанию иерархий (в том числе отрицанию иерархии важности исследовательских проблем). А иной раз – просто вязкому равнодушию.

Куда серьезнее, чем «враждебное окружение», на мой взгляд, выглядит сегодняшняя проблема сосуществования двух типов дискурсов, претендующих на маркировку «гендерных». Я имею в виду проблему, на которую одной из первых указала философ Ольга Воронина и озабоченность которой ныне по-разному пытаются осмыслить многие коллеги.

*Первый дискурс* – дискурс традиционных гендерных ролей, который (хотя его порой и не прокламируют и даже отрешиваются от приписывания ему этой задачи) легитимизирует роль женщины как комплементарную (взаимодополнительную) к роли мужчины. Этот тип дискурса Ольга Воронина и назвала очень точно «ложной теорией гендера». Именно этот дискурс позволил переименоваться или наименоваться немалому количеству центров, лабораторий и научных отделов в институтах гуманитарного профиля – тех, что ранее занимались изучением социологии пола (этнологией пола и семьи, историей семьи и демографии) в лаборатории, центры, кафедры, отделы, сектора гендерных исследований.

*Второй дискурс* – тот, что ставит под сомнение естественность (то есть эссенциалистскую обусловленность) взаимодополнительности гендерных ролей в прошлом и в настоящем. Обращу внимание на то, что приверженцы такого методологического ракурса по-иному подходят уже к сбору эмпирического материала, поскольку сами вопросы, которые они считают важными, предполагают феминистскую рефлексию.

Сосуществование указанных дискурсов настолько переплетено, что в одном и том же учреждении, в одном и том же научном центре – по крайней мере, в исторических науках России – могут вполне мирно сосуществовать сторонники/цы этих разных подходов.

Зададим провокационный в данном контексте вопрос: плохо это или хорошо? Требуется ли ситуация «исправления» или же, осмыслив ее, мы можем найти в ней то, что необходимо для дальнейшего развития направления?

Я еще раз позволю себе напомнить, что даже институционализованные в рамках первого из названных дискурсов женские и гендерные исследования в России сделали немало для того, чтобы возникла среда для распространения основ феминистской эпистемологии. Мне самой на научном пути приходилось не раз заниматься историей науки, находя в работах, давно считавшихся устаревшими, ростки тех идей, которые будут обнаружены и как бы «первооткрыты» заново позже.

Не берусь оценивать иные гуманитарные дисциплины, но в истории и этнологии все современные исследователи стоят на плечах предшественников. Сделанное еще в годы брежневского застоя, да и раньше, теми, кто начал собирать эмпирический материал по истории женщин, по этнографии пола и семьи трудно переоценить. Пусть те вопросы, которые мы сейчас разбираем, ставились в концептуальных рамках (*frameworks*) полового диморфизма, но ведь они были поставлены. Уже поэтому мы не имеем права сбрасывать этих первооткрывателей «с корабля современности». К ним, тем, кто первым обратился к «женской теме» (в данном случае в близкой мне области знания – истории), не может быть обращено требование перекрыть их устоявшиеся, сильно заме-

шанные на марксизме, на биологическом детерминизме, эссенциализме взгляды на историю полов.

Ни Г.А. Тишкин, ни Э.А. Павлюченко – авторы первых работ по истории женщин, опубликованных еще в 1970-е гг., – ни те, кто изучал этнографию семьи и положение женщины (имею в виду этнологов старшего поколения, их имена еще меньше известны) – уже не станут сторонниками второго типа гендерного дискурса и никогда не проникнутся идеями новых подходов к самой работе с эмпирическим материалом. Они достойны уважения, памяти и благодарности тех, кто работает над темой сейчас. Но... как оценить творчество и образовательную деятельность их учеников и учениц, среди которых сторонников/ц феминистского переосмысления методов и приемов работы единицы, а большинство составляют как раз те, кто работает в русле «ложной теории гендера»? Как, с каких позиций следует эвалюировать работу «тех, кто не с нами» – сиречь не разделяет (даже в глубине души) феминистских подходов, но при всем при том считает себя частью гендерного сообщества?

Я постараюсь позже ответить на этот *первый* вопрос, который для меня самой еще не до конца решен.

Вернусь немного назад, к теме институционализации первых гендерных центров, кафедр и отделов, к тем, кто был в России у истоков складывания нового направления в истории и этнологии. Это, по сути, вопрос, заданный на московском Макартуровском семинаре: «Чей/какой феминизм стал основой создания институций, и что он смог?».

В известной степени – именно наш, «расейский» вариант понимания «женского вопроса» помог сформироваться и дискурсивному пространству, и первым объединениям. Очень немногие (но такие все-таки были) центры и группы «изучения истории женщин» начали складываться еще на заре перестройки, а возможно, и до нее – как, например, Ивановский центр гендерных исследований, возникший благодаря энтузиазму Ольги Хасбулатовой (институционализировался он тоже в начале 1990-х), или же конференции, ныне заглухнувшие, Ленинградского института культуры, проводившиеся Григорием Тишкиным. И все же согласимся, что абсолютное большинство центров, секторов, подразделений возникло в 90-е гг., потому что толчком к их возникновению был не запрос «снизу», а влияние «сверху» – следовательно, не наш, а западный феминизм как составная часть общей концепции гражданского общества.

Интеллектуальная и финансовая поддержка западных фондов и исследовательских организаций сыграла в этом процессе огромную роль. Они появились на горизонте тогда, когда стал очевиден кризис российской и постсоветской науки. Именно эти фонды дали нашим интеллектуалам возможность участия в жизни международного научного сообщества, чтения книг и журналов, недоступных в то время в стране, это они открыли для многих из нас перспективы научного роста. Елена Здравомыслова и Анна Темкина обращают внима-

ние и на то, что финансовые вливания западных фондов заставили российских чиновников с изумлением отметить рождение организационных структур, именовавшихся центрами гендерных исследований как раз потому, что эти центры стали получать финансовую помощь.

Стремительно возникшее сообщество этих центров, их разнородные и разноплановые объединения, лаборатории и консорциумы, оказались в счастливом положении *Данаи*, которой Зевс (интеллектуальный потенциал Запада!) явился в виде золотого дождя грантов.

Между тем, «золотой дождь» преобразовал не только научную, но и образовательную среду: в университетах появились новые формы образовательных практик, не известных до того в «советской России», спецкурсы по выбору, различные тренинги, смешанные формы лекционно-семинарских занятий с пресловутой для всех, кто был включен в эту систему, интерактивностью. Та же система грантовой поддержки очень помогла индивидуальным грантополучателям, большинство из которых обратили все силы на распространение знаний и своих убеждений (феминистских в том числе).

Как же оценивают сейчас западные доноры деятельность российских гендерных центров с точки зрения их вклада в формирование российского гражданского общества? Признаемся, что оценки эти неоднозначны. На эту тему написано уже немало, и я позволю себе обрисовать сложившуюся картину несколькими мазками. Финансовые вливания очевидны с начала 90-х годов. Вначале *USAID*, затем иные фонды (*the MacArthur, the Eurasia, United Way International, ISAR, IREX*), в том числе с середины 1990-х – Фонд Сороса (только для женских организаций он передал в 1999/2000 гг. 500 000 долл.) преследовали благие цели распространения идеалов либерального общества западной модели. Главной из них было способствовать формированию в России гендерного равенства «западного образца», упрочению статуса женщины в российском обществе, пошатнувшегося в результате кризисов в постсоветское время<sup>2</sup>.

И к какому же итогу пришли эти фонды за 10-15 лет?<sup>3</sup> Прочитав некоторые из статей на данную тему. «Группы, получающие помощь от западных организаций, как выяснилось, отвечают запросам иностранных фондов больше, чем домашним нуждам...», «Возник феномен “ложного активизма”: под объявленные программы писались проекты, которые хотели видеть грантодатели...», «Языком написания грантов для многих программ был английский, это ограничило помощь запада людьми, которые хорошо знают язык и имеют связи на западе. Гранты получали те, кто лучше владел английским и, кроме того, правильно умел заявить о своих целях и потому верно оформлял заявки...», «Возник феномен “фальшивого” гражданского общества»: большинство центров поддержки женских гендерных исследований неизвестны даже активистам иных общественных организаций, не говоря уже о самих адресатах

помощи, женщинах. Один из крупнейших центров гендерных исследований (МЦГИ) известен академическим кругам Америки – но абсолютно неизвестен в России, хотя бюджет этого центра больше бюджета «Комитета солдатских матерей», который известен в РФ, но получил намного меньше помощи. Трудно не заметить и того, что западное финансирование женских групп постепенно *создавало новую элиту*, увеличивая расстояние между теми, «кто имел и кто не имел» связей, денег, грантов, между активистами финансируемых организаций и остальным обществом<sup>4</sup>. Западные усилия были успешными в уменьшении изоляции российских НГО (в том числе женских), но они не способствовали объединению женских организаций по всей территории страны. Соревнования за гранты увеличили недоверие между организациями, их зависимость от западных фондов. Активистки в борьбе за получение грантов не делились своими идеями с другими, не учили других получать средства. Так начала создаваться новая женская номенклатура.

Западная помощь сделала некоторые женские организации *иерархичными*, централизованными образованиями, более ответственными перед фондами, нежели перед теми, кого защищали.

Мой *второй* вопрос, который мне бы хотелось обратиться к коллегам, касается как раз последних двух пунктов оценки деятельности наших центров женских и гендерных исследований: можно ли согласиться с тем, что за прошедшие годы возникла «новая элита» среди женских групп? С тем, что возникла новая иерархия? Сразу выводя за скобки тех, кто считает такие выводы сильной гиперболизацией, я хотела бы обратиться к тем, кто вынужденно признает это.

И тогда мой вопрос: есть ли выход из этой ситуации?

Сразу скажу, что историки и этнологи постоянно проигрывали в конкурсах заявок, касающихся крупных организационных объединений, что не мешало отдельным исследователям (и мне в том числе) получать поддержку индивидуальных грантов. Отсутствие статусных фигур среди историков-женщин (за исключением О.А. Хасбулатовой), обладавших реальным и сильным административным ресурсом, долгие годы превращало институционализацию гендерных исследований в нашей области знания в истинное «воображаемое». Потому я и склонна считать, что женская история и этнология у нас существуют, а гендерная – в стадии становления.

Тем не менее, какой бы виртуальной ни была институционализация гендерных исследований в истории и этнологии, не стоит недооценивать сделанного теми, кто в прошедшие годы по-донкихотски пытался бороться с ветряными мельницами традиционной науки. Я не могу не обратить внимание на то, что историки и этнологи, пусть с меньшими результатами, чем социологи, философы, культурологи, лингвисты и психологи, прошли 4 этапа становления гендерных исследований<sup>5</sup>:

- более или менее успешно образовательно-просветительский,
- отчасти институциональный (взять хотя бы Иваново, СПб.),
- отчасти же консолидационный (объединяющий единомышленников) и
- в самой меньшей степени легитимирующий новую дисциплину (то есть этап базисный для распространения новых знаний).

Значительно печальнее выглядит картина институционализации, если выделять в ней два основных этапа, на которые указывают Елена Здравомыслова и Анна Темкина<sup>6</sup>, – я имею в виду этапы

(1) автономизации (с этим все в порядке, отречение от «старого мира» андроцентричной науки, не замечавшей женщин и особенности женского мира, женской аксиосферы и женских социальных интенций, стряхивание его праха – все это с разной степенью успешности реализовано);

(2) интеграции – включения тематики в основное русло общественного дискурса в соответствии с научным дисциплинарным разделением – к которому исследовательницы относят и соответствующие рубрики в журналах и ежегодниках, и специальные секции на конгрессах. Для историков это остается пока недостижимым идеалом, а для этнологов – хотя и осуществлено в известном смысле, все же в концептуальных рамках традиционной этнологии семьи и пола (а не новых, освеженных феминистской эпистемологией, аналитических подходов).

Однако интеграция в виде согласия организовать секцию на конгрессе или издать мартовский «женский» номерок журнала – совсем не действительное признание. Во всяком случае, историческим наукам до реальной признанности обсуждаемого нами направления далеко. Это ощутимо по перечням спецкурсов в университетах, по текстам учебной литературы, по отношению сообщества, коллег по перу в целом. Несмотря на значительное количество публикаций по гендерной тематике, большинство из них – тематические сборники, сборники тезисов, реже и только в последнее время (спасибо поддержке западных фондов) – библиографии и историографические обзоры. Монографий, особенно не историографического и теоретико-методологического плана, единицы, еще меньше среди них – не относящихся к истории женского движения и женского активизма.

Это заставляет прийти к выводу о том, что направление гендерных исследований в истории и этнологии по-прежнему маргинально. Благополучно и успешно развивается описательная «история женщин», в то время как гендерная история и этнология как направления, долженствующие развиваться на иных методологических основаниях, на знании основ феминистской теории и методологии, остаются не слишком востребованными, потому что просто не со-

всем понятны большинству коллег. Эти выводы заставляют поставить *третий* вопрос, прямо связанный с первым и вторым.

Итак, вначале я постаралась показать, что существует два дискурса и два подхода в гендерных исследованиях в истории и этнологии (эссенциалистский и феминистский), и поставила вопрос, как относиться к первому, эссенциалистскому. Во втором фрагменте, обозначив конечный противоречивый результат финансовой помощи фондов объединениям, именовавшим себя гендерными центрами, я обратила внимание на то, что представителям западной науки кажется, что грантовая помощь содействовала не объединению, а нередко размежеванию женского социально-политического активизма и исследовательских центров между собой, а также созданию иерархий внутри сообществ исследователей.

Третий фрагмент был посвящен проблеме современного этапа институционализации, а именно – этапу слабой интеграции представителей гендерного направления в научное сообщество, практического непризнания их «особости», неповторимости, нужности для дальнейшего рывка вперед в их науках о прошлом. Так вот, третий вопрос – вопрос о том, что же необходимо для того, чтобы преодолеть разобщенность

(а) двух дискурсов в научном пространстве;

(б) различных центров между собой, в том числе феминистски-продвинутых и не слишком, финансировавшихся хорошо и финансировавшихся плохо, а потому менее успешных;

(в) практического женского движения и того меритократического сообщества исследовательниц теоретического феминизма, которое (по нашему желанию оставаться «особыми», «другими» или без нашего желания) у нас за последние годы возникло?

Мой ответ на эти вопросы – продолжение той точки зрения, которую я неоднократно высказывала и убежденной сторонницей которой я остаюсь. *Нужно ставить задачу быть понятным и услышанным не только представителями своего научного сообщества, но и теми, кто к нему не принадлежит.* Не отмахиваться от них – мол, они нас не поняли, они не доросли, не смогли, не сумели... – а звать к диалогу, печататься в их изданиях, встречаться на летних школах и конференциях. Не они виноваты в том, что «недопоняли», как «сохранять *чужое* и *другое* – *чужим* и *другим*», а мы не смогли объяснить, почему это нужно науке. «Читатель не всегда способен воспринимать *чужие* теории и концепты как актуальные, – сетуют аналитики, – то есть такие, которые в состоянии конкурировать со *своими* традиционными представлениями, бытующими в социально-гуманитарном контексте, содействуя переопределению *своих* познавательных норм и ориентаций». А нужно ли такое переопределение? Для чего? Так ли они нужны, эти *чужие* концепты вместо *своих*? Если цели будут понятны и близки – возможно, с вами согласятся.

Поэтому я и ставлю перед собой задачу способствовать развитию диалога между феминистски-ориентированными историками и этнологами с теми, кто работает в русле «ложной теории гендера» – я призываю быть терпимее и искать пути обмена мнениями, иначе феминистки-единомышленницы собираются на одни научные форумы, а сторонницы старых подходов – на другие.

Это относится и к взаимоотношениям с теми, кому не повезло даже в «гендерные 90-е» заполучить гранты и приобщиться к феминистски-ориентированному меньшинству – тому, что удалось попасть «в обойму». Нужно иметь силы и готовность выслушивать их, предоставлять им слово и работать с их текстами, когда речь идет о сборниках статей и тематических выпусках журналов.

Одномоментное усвоение не совпадавших по времени теорий – структурного функционализма, социального конструирования, гуманистической психологии, психоанализа, неомарксизма, постмодернистской теории тела и сексуальности, концепций, образующих лингвистический поворот и т.д. – происходило в России довольно агрессивно, в том числе в форме упрощений, схематизации и даже профанизации знания.

Стоит ли пугаться этой профанизации? И этого дискурсивного хаоса?

Мне думается, что нет. Преобразование «чужого» в «свое» (в том числе – чужого феминизма в его российский вариант), принимающее форму индивидуальной интериоризации отдельных концептов, освоения самих теорий через их культурное «присваивание», я не считаю ни потерей, ни недостатком. Ни своим, ни чьим-то еще – как меня прямо или косвенно в этом ни упрекают. Эффект «одомашнивания» (доместикации) западных теорий, которым меня (как защитницу идеи «присвоения» и переработки концептов с учетом российских реалий) не раз пугали культурологи со страниц своих обзорных публикаций, не ведет, с моей точки зрения, к «выхолащиванию» замечательных достижений западной теоретической мысли.

Феминизм многолик, феминизмов много.

Выглядящая «выхолащиванием» схематизация, адаптация западных концептов – пусть по линии их «примирения», то есть за счет формального преодоления теоретико-методологических расхождений и нивелирования семантического разномыслия концептов, снятия возможных разночтений, коллизий, нюансов – мне по-прежнему представляется путем к объединению.

Возможно, такая оценка коренится в том, что я очень давно, много раньше иных, примкнувших к «женской истории», обратилась к «женской теме». Это было в конце 1970-х гг. Тогда все направление мировой «женской истории» в целом шло от комплементарности, от желания дать женщинам «право голоса» к написанию «другой истории», к осмыслению основ феминистской теории. Я сама прохожу (употреблю глагол несовершенного вида) путь от описательной истории и этнологии женщин к гендерной истории и этнологии,

причем именно на отечественном эмпирическом, источниковом материале, – а это неизмеримо сложнее, чем на западном, где у первопроходчиц есть предшественницы.

Вот почему, вероятно, я не вижу опасности в «обеднении» западных теорий в процессе превращения «чужого» в «свое», в способах приспособления их к неудобной российской действительности. Той самой действительности, где обычные женщины ничего и не слышали о центрах женских и гендерных исследований и никак не могут взять в толк, чем занимаются в них их защитницы. Путь навстречу, путь поиска общего языка, общих целей – с моей точки зрения – есть путь к утверждению вечно живой для каждого разделяющего феминистские лозунги идеи равенства в различиях. Не мирно творить в «башне из слоновой кости», пестуя свою «особость», «другость», оставляя «чужое» – «чужим», но искать и находить общий язык со всеми – так мне видится исследовательская и практическая задача на текущий момент.

- 
- <sup>1</sup> Жеребкина И.А. «Гендерные 90-е... О перформативности гендера в бывшем СССР», [www.gender.univer.kharkov.ua](http://www.gender.univer.kharkov.ua).
  - <sup>2</sup> Henderson, Sarah L. «Importing Civil Society: Foreign Aid and the Women's Movement in Russia», *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*, Winter 2000, p. 66.
  - <sup>3</sup> Sperling, Valerie. *Organizing Women in Contemporary Russia* (Cambridge University press, 1999), p. 75-77.
  - <sup>4</sup> Richter, J. «Evaluating Western Assistance to Russian Women's Organizations», in *The Power and Limits of NGOs: Transnational Democracy Networks and Post-Communist Transitions*, in Mendelson Sarah, Glenn John (eds.) (New York: Columbia University Press, 2002), p. 55.
  - <sup>5</sup> Хоткина З.А. «Летние школы по гендерным исследованиям в России 1990-х гг. как модель образования», *Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования*. Вып. 2 (М., 2000), с. 249-257.
  - <sup>6</sup> Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. «Институционализация гендерных исследований», *Гендерный калейдоскоп*, под ред. Малышевой М.М. (М., 2001).